

ЭМИЛЬ
МИШЕЛЬ ЧЬОРАН

М.А.Малышев



Малышев Михаил Алексеевич — кандидат философских наук, профессор-исследователь Гуманитарного факультета Автономного университета Штата Мехико (Мексика).

Эмиль Мишель Чьоран (1911-1995)... Это имя румыно-французского эссеиста еще мало известно в России, между тем как на Западе он считается законным наследником традиций французской моралистики, заложенных Монтенем, Паскалем, Ларошфуко и Шамфором. Семь лет тому назад он ушел из жизни, оставив после себя свыше десятка сборников эссе и афоризмов: Катехизис печали, Силлогизмы горечи, Искушение существованием, История и утопия, Зловещий демиург, О неудобстве быть рожденным, Падение во время, Терзание, Атрофия слова, Это проклятое «я». Эссе о реакционной мысли. Именно эти книги дали основание таким бесспорным мэтрам европейской культуры как Габриель Марсель, Самуэль Беккет, Анри Мишу, Клемент Россет и Фернандо Саватер возвести Чьорана в ранг одного из наиболее оригинальных мыслителей двадцатого века, а Сен-Джону Персу назвать его самым выдающимся французским писателем после Поля Валери.

Каковы же основные темы эссеистики Чьорана? Это в первую очередь судьбы минувших цивилизаций, вера, религия, власть, утопия, миф об утраченной невинности, ересь, сомнение, тоска, болезнь, признание, смерть, бог, свобода, слава, время. Но самым, пожалуй, излюбленным предметом его размышлений является человек и история, вернее, заброшенность человека в историю. История для Чьорана — это «разматывающийся клубок бытия», узлами нити которого выступают события. «Человек делает историю, а последняя, в свою очередь, отделяет человека», искушаемого миражом будущего, которое обладает огромной закабаляющей властью над своим

«творцом», ибо соблазняет его надеждой. «Мы есть и пребудем рабами до тех пор, — пишет Чьоран, — пока не излечимся от мании надежды». Только отказавшись от надежды, человек смог бы подавить в себе идол будущего и достигнуть пост-истории, то есть, истории по ту стороны надежды, где время разматывалось бы совершенно бесцельно, а потому и бессобытийно. Но, увы, констатирует Чьоран, все мы живем под знаком чар невозможного, в которых обретаем необходимый стимул для своих действий. Рассудительность никого неспособна вдохновить, главным образом потому, что рекомендует ориентироваться на настоящее, дорожить тем, что имеется в наличии, под рукой, тогда как человек одержим воображаемым счастьем, которое он склонен искать в грядущем и без которого, вероятно, превратился бы в исторического безработного. «Бред нуждающихся служит генератором событий, источником истории, он подстрекает снедаемых нетерпением, которые жаждут другого мира, здесь внизу и как можно быстрее».

Чьоран утверждает, что существовать — значит быть признанным. По своей природе человек — существо недостаточное, а стало быть, нуждающееся в своём ближнем. Признание нашего существования, будучи предварительным условием всякого сосуществования, является кислородом для нашей души. Органически неспособный обходиться без кислорода признания, человек, чтобы «глотнуть» его, готов на любой подвиг, как, впрочем, и на любую подлость. Он постоянно ведёт торг со своими ближними, обменивая своё усердие на благоприятное о себе мнение, а когда ему кажется, что другой не воздает ему «по заслугам», то, как последняя попрошайка, он выклянчивает у него похвалу. Опытный психолог и тонкий стратег, льстец знает эту нашу «душевную слабость» и бесовственно её эксплуатирует в своих интересах. Падкие на похвалу, мы принимаем без всякого зазрения совести даже фальшивые её эрзацы, полагая, что приличествующая случаю ложь лучше безвестности.

Отсутствие признания воспринимается нами как одиночество. Меня не видят в упор, но не потому, что я не существую, а потому, что для других я ничего не значу. Нас приводит в отчаяние мысль о том, что мы можем покинуть этот бранный мир, будучи безвестными. Последнего не могут перенести даже самые обездоленные и отверженные. Это стремление быть кем-то, эта претензия на собственную значимость и образует, по мнению Чьорана, последний редут нашей безрелигиозной веры, на котором, кстати сказать, зиждется вся наша культура. И действительно, весь стиль и ритм нашей жизни есть не что иное, как бунт против анонимности. Обрести покой в безразличии, достичь нулевого градуса существования — эти советы мудрецов, несмотря на все их благие пожелания, ни к какому позитивному результату не привели и не приведут. Это и понятно, ведь, что бы мы ни делали, к каким бы методам аскезы ни прибегали и как бы ни боролись против укоренённой в нас потребности в признании, которая, подобно Протею, оборачивается самыми разнообразными ликами, мы неизбежно обречены на неискренность по отношению к собственным актам и обуславливающим их мотивам.

Каждым своим действием мы развенчиваем гармонию общественной благодати; наши потуги быть отличными от других или на них похожими превращают нашу жажду признания в борьбу самолюбий, в непрерывную цепь взаимоподсидиваний.

Слава наших ближних, как высшая форма признания, вызывает в нас, и не так уж редко, злобу, зависть и желание принизить их заслуги, словом, она превращает нас в тайных ненавистников. И хотя мы боремся с этими глубоко укоренёнными в нас низкими страстями, прибегая к идее долга или великодушия, тем не менее, эти естественные наклонности к подозрению к заслугам другого постоянно выводят нас из состояния душевного равновесия. Кто нацеливается на ту же самую проблему, над которой работаем и мы, кто вторгается в ту же самую сферу, где сосредоточен и наш интерес, тот невольно воспринимается нами как «террорист», покушающийся на нашу оригинальность и на наши привилегии; он не может не внушать нам опасения за наши надежды и мечты. По-настоящему душевное спокойствие мы обретаем лишь тогда, когда присутствуем на спектакле несчастья наших тайных недругов; ещё большую радость вызывает в нас весть об их позоре, а к высшему примирению с самими собой нас приводит созерцание их могил. Мы презираем того, кто «выбрал» нас своим современником, зато охотно признаем величие мертвых, которых возводим в ранг классиков и воздвигаем памятники. Поистине пути человеческого недоброжелательства неисповедимы! Хорошо, что язык вовремя заменил нам собой первобытные джунгли. «Если бы по капризу некой могущественной и злой силы, мы утратили бы дар слова, то никто не смог бы обрести надежду на спасение».

С точки зрения французского эссеиста, великие добродетели отнюдь не аннулируют наши пороки, а лишь ставят их себе на службу. Все святые потому и отмечены ореолом святости, что проявляют интерес к чужим несчастьям, стараются как-то ободрить и утешить страждущих. Однако их милосердие, в сущности, есть порок доброты: ведь, прозревая несчастье другого и выражая ему своё сочувствие, они втайне наслаждаются его страданиями. Чтобы убедиться в справедливости этого утверждения, советует Чьоран, перелистайте жития святых, и вам сразу же бросится в глаза та жадность, с которой они набрасываются на ваши грехи, та повышенная жалость, с которой они выслушивают ваши стоны или исповеди о ваших раскаяниях и то сокрушение, с которой они воспринимают ваш позор.

Если Чьоран что-то и исповедует, то только сомнение, но его сомнение — это не картезианское *dubitare*, которое, установив несомненное, требует надежной уверенности и спокойствия духа, а сомнение, не заслоняющее суровую правду последнего удела. Суетны все потуги скрыться от беспощадной истины небытия, предназначенного всем нам, за миражем веры в бессмертие души: невесть зачем явился человек на этот свет, и невесть почему исчезнет без следа. Перед простой ясностью этой немудрёной истины рушатся все метафизические

конструкции, задающие конечные смысловые определения человеческому бытию. Но с другой стороны, Чьоран понимает, что от «онтологического миража» часто весьма трудно внутренне освободиться даже тогда, когда он подвергается беспощадному изобличению. Не исключено, что и скептик, обуреваемый собственными сомнениями, может превратиться в фанатика скептицизма. Догмы существования намного глубже догматов веры, иначе откуда тогда возникает ужас, который заставляет нас содрогаться перед лицом неизбежного ничто. И тем не менее, в онтологическом плане ничто имеет не меньше прав, чем бытие: в самом деле, разве всё, что существует, рано или поздно не обречено на уход в небытие? Данное утверждение неоспоримо в своей предельной ясности. И эта ясность, вероятно, и образует последнюю опору позиции скептицизма с его тезисом: «почему это, а не другое». Воздержание от суждения — это предостережение от безусловного доверия к нашим склонностям и страстям, которые, внедрившись в наш ум, скрытно манипулируют им, препятствуя выяснению последнего основания нашего выбора. Если всякая форма выражения и действия включает в себя потребность в непреложном, то, естественно, что никакой тиран, догматик или маньяк не захотел бы, пусть даже временно, отделить разум от страстей или капризов, воздержаться от суждений и выслушать трезвый голос сомнения. Как бы там ни было, а сомнение для Чьорана — это всегда паллиатив, по той простой причине, что скептик — человек, а потому он обязан, антропологически обречён на выбор. Сомнение, возведённое в абсолют, вырождается в стерильность, которая не может не обрекать своего носителя на бесплодие. Отсюда предостережение Чьорана против ослепления ригоризмом чистого рассудка, противоядием которого служит ирония, насмешка человека над самим собой. Только юмор спасает от помазания, только насмешка предохраняет от елея, не позволяя разуму соскальзывать к мрачному пессимизму, к юридическому плачу или мизантропической истерике.

И хотя Чьоран тяготеет к скептицизму, но в его сомнении присутствует потаённая страсть, которая не позволяет исчерпать его творчество таким уж слишком лаконичным определением. Его скептицизм не сводится только к отрицанию, но включает в себя страсть к ясности, а стало быть, стремление к постижению человека в его многогранности и внутренней антиномичности, к пониманию того, что надежда, утопия и стремление к добру, будучи недостижимыми, все-таки принадлежат к атрибутивным одержимостям, свойственным потомкам Адама и Евы, а потому, вопреки самому «трезвому» скептицизму, никогда до конца неискоренимым.

Приводимые ниже афоризмы и эссе Чьорана извлечены мной из трех его книг — «Катехизис тоски», «О неприличии быть рожденным», «Падение во время», которые, как я надеюсь, помогут русскому читателю составить себе представление об оригинальности мысли и стиля этого замечательного мыслителя-скептика, взыскующего ясности мысли.